

Антон Секисов

БОГ
ТРЕВОГИ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

1

Я проснулся из-за того, что в комнату залетел инородный предмет. Мне показалось, это граната, бомба. Тело сжалось в последний раз перед тем, как разлететься на осметки и лоскутки – может быть, навсегда, а может, только на неопределенное время.

Я присмотрелся и понял, что предмет – птица. По оперению было видно, что это скворец. Почему-то сразу стало понятно, что скворец мертвый. Труп птицы кротко лежал в углу.

Судя по траектории, он влетел не сам, а кто-то швырнул его в форточку. Как это могло получиться? Мы были на восьмом этаже. Но все-таки на пару секунд возникло полное ощущение, что кто-то стоит за окном. Стоит или даже висит: представился суперзлодей вселенной «Марвел» Зеленый Гоблин, который парит у окна на реактивном глайдере, а в авоське у него – охапка мертвых скворцов. Он подкидывает их жильцам Басманного района Москвы, чтобы внести разлад в их бедные, поработанные ежедневной рутинной головы.

Не просыпаясь, Рита столкнула меня с матраса, хорошенько двинув ногой. Я взглянул на ее безмятежную лисью мордочку. На улице было жарко. Медленные тупые мысли плыли в голове.

Встать долго не получалось, и я просто лежал на полу и глядел на птицу. Напольный вентилятор шевелил оперение скворца. Голый, сонный, беспомощный, я чувствовал себя тоже птицей, выпавшей из гнезда.

Я все-таки подошел к окну и отдернул штору. За окном не было никого – ни поблизости, ни вообще где бы то ни было, насколько достигал взгляд. А взгляд достигал железнодорожных путей, розовой колокольни XVIII века, стены которой приобрели оттенок воспаленной кожи, сгоревшей на солнце; пыльного и пустого двора и достроенного в 1917 году огромного доходного дома, в котором теперь была академия прокуратуры. Никаких признаков жизни ни в одном из многих сотен окон. Ни одной птицы: ни живой, ни мертвой.

* * *

Я встал перед зеркалом в ванной, надавил на тюбик с пастой и вспомнил, что есть плохая примета про птиц. Птица, влетевшая в дом, – это вестник смерти. А что за примета, если и сам вестник смерти мертв? Целое колесо смерти вломилось в окно этим утром.

Долго мыл холодной водой лицо, пытаюсь проснуться. Сходил на кухню за мусорными пакетами, веником, совком и перчатками. Мне не хотелось обратно в комнату, и я долго стоял на пороге, ковыряя пальцем в зубах. Но когда зашел, скворца нигде не было. Рита лежала лицом к стенке. Я сел на стул посреди комнаты и поглядел на нее. Представил, что Рита на самом деле не спит и что у нее

желтые белки глаз, узкие, как бритва, зрачки, а изо рта торчит птичье перышко.

Одна лопатка у Риты так выпирала, как будто третья рука хотела вырваться из спины. Этой ночью мы старались любить друг друга потише, из уважения к спавшему ровно под нами старому инвалиду. Но он все равно стучал по батарее клюкой. Я сидел и раздумывал, стоит ли сказать прямо сейчас о своем решении. Это решение я принял давно. Оно ударило меня, как разряд тока, именно в тот момент, когда я был внутри нее – Рита не женщина, а трансформатор.

Но сейчас решимости не хватало: я понял, что лучше сперва отрепетировать разговор на друзьях. Раздумывая, я и не заметил, как Рита села в постели и, рассеянно взглянув мимо меня, принялась осторожно ощупывать груди – так, как будто всю жизнь прожила мужчиной, а сегодня проснулась в теле привлекательной женщины. Вы наверняка видели хоть один фильм с такой коллизией.

* * *

Я купил новые линзы, поэтому с непривычной отчетливостью видел каменный зад купальщицы в Нескучном саду – очень худой, тусклый, несчастный.

Был еще один аномально теплый день в октябре, и деревья большей частью стояли зелеными, а люди бродили полураздетыми, и только зад купальщицы источал беспокойство, торча молчаливой угрозой сложившемуся порядку вещей. Как будто в нем была заключена вся чугунная серость зимы. Казалось, купальщица вот-вот разорвется, и всю эту жалкую последнюю теплоту, как при обвале, засыплет каменным холодом.

Здесь я объявил своим друзьям, Александру Снегиреву и Оле Столповской, что переезжаю в Петербург. Они узнали первыми о моем намерении.

Оля – скандинавская мраморная королева. Снегирев – арабский шейх, с шерстяными, но аристократическими руками, со странно темной лысиной, в которой, как в черном зеркале, гасли все блики и отражения.

Обычно у Оли были ясно-прозрачные глаза, но сегодня – замутившиеся, как будто они выпали в корыто с мыльной водой и долго плескались там, пока Оля шарилась по корыту руками. Но и такими глазами она видела меня целиком, вместе с желтеющими подмышками и всеми рабскими банальными мечтами. И Оля принялась хохотать. Это не шло мраморной королеве.

Снегиреву сделалось неудобно за свою непосредственную жену.

– Что здесь такого? – сказал шейх. – Я тоже думал пожить в Петербурге. Просто смелости не хватало.

Оля продолжала смеяться, она смеялась достаточно долго, чтоб выйти за рамки всех возможных приличий. Но я понимал ее смех. Москвич, переезжающий в Петербург. Мелкий писатель-неудачник в попытке поэтизировать жизнь, переехать в мировую столицу писателей-неудачников. Какой флер романтической глупости тянется за этим решением. Она видела, что перед ней не мужчина, а хоть седоволосый, но по сути младенец, требующий того, чего и сам не в силах понять. Сколько она перевидала таких переездов. Принес ли он счастье хоть одному?

Я глядел на друзей с обидой. Скандинавская королева и арабский шейх, которых как будто свели из геополитических интересов. И их аккуратное королевство в Подмосковье с кукольным дворцом без забора, открытым

наступающему на них лесу. Но лес тоже кукольный, из декоративных хрупких берез. Он весь виден насквозь – из этого леса не может выйти ничего страшного – в худшем случае, полевая мышь. В таких декорациях хорошо снимать европейский мистический триллер про благополучную семью, которую мучают призрачные кошмары, так и не проявившиеся во плоти.

* * *

У Риты от нервов задергался один глаз, а лицо печально обмякло – может, сбежал один из бородатых атлантов, поддерживавших каркас. Я списал это на лисью Ритину интуицию. Она догадалась про переезд. Для Риты у меня было три нежных прозвища – лисичка, змея, паучиха. Но сейчас ни одно из этих прозвищ к ней не приклеивалось. «Моя переваренная свеклушка», – что-то такое вертелось на языке.

Но причина была в другом. Рита сказала мне, что беременна.

Ее слова подействовали неожиданно. Еще недавно я бросился бы от таких слов на рельсы – мы встретились у эскалаторов на станции «Римская», возле фигурок двух жутких детей с облупившимися физиономиями, они налипли на дорическую колонну, как слизистые насекомые типа улиток.

Но теперь я чувствовал, как все обретает смысл. Переезд в Петербург – это просто тупая блажь. Мне тридцать лет, мне нужно идти по пути, проторенному тысячей моих предков, а не скакать козлом из города в город. Меня ждет обыкновенная семейная жизнь, ее теплый навоз, в котором пришла пора согреться и успокоиться.

Рита не понимала моей улыбки. Когда я обнял ее, почувствовал, что она дрожит. Испуганная светловолосая девочка в белом пуховике. У нее азиатский разрез глаз, но арийский облик. Рита – это Евразия. Вот и новое прозвище, первое прозвище, не привязанное к животному миру или еде.

Евразия вгляделась в меня с тоской и мольбой: как же я мог – здоровенный лоб – не обезопасить ее от такого конфуза?

Я вспомнил смех Оли. Она смеялась не над моим переездом. Белая ведьма, она заглянула в будущее и рассмеялась над всеми моими планами, которые разобьются о завтрашнее известие. Пока я разглядывал тощий каменный зад купальщицы, она прозревала мойр, из лоскутов окровавленной кожи уже давно соткавших мою судьбу.

* * *

В комнате было темно, только падал мертвящий свет от абажура, на который Рита набросила синие бархатные штаны. Я ощущал спиной, как светится синеватый лоб Гумилева – с портрета, купленного в музее Ахматовой. Трудно было понять, что выражал взгляд его неодинаковых косых глаз, казавшийся немного враждебным.

На ребрах у Риты наколота паутина – прямолинейный символизм жизни. Но я доволен положением мухи, увязшей в сети. Точнее, меня охватило состояние бурной радости. Но это радость, спущенная сверху, как директива. Приказано радоваться. И кто же отдал приказ? Тело, запрограммированное на размножение, или это зов предков, или, может, древний уродливый бог плодородия внул это мне?

Мыслями я был далеко над нашей постелью. Монотонно двигаясь, я производил сложные вычисления, во всех мелочах планируя семейную жизнь.

У меня есть крошечная халупа на самой окраине, нужно ее продать и взять в ипотеку двух- или трехкомнатную квартиру. Чтобы рядом был лес или лесопарк. Или, во всяком случае, сквер, в котором можно гулять с коляской. Нужно завтра же изучить рынок, посмотреть, сколько стоит квадратный метр в ближайшем Подмоскovie – в пределах десяти километров от кольца. Следует стать тем прозорливым жителем Подмоскovie, который дождется, пока возле его поселка не откроют метро, и он станет частью Москвы, и недвижимостъ в полтора раза подорожает. Главное – брать в доме на стадии строительства, это маленький риск, но огромная экономия.

Без машины теперь нельзя. Ребенка нужно возить к врачу. Закупаться продуктами в гипермаркетах. Обычные супермаркеты для молодой семьи не подойдут. Сносная машина стоит от полумиллиона. Нужно будет залезть в кредит. Хотя, может быть, получится сделать так, чтобы половину суммы дал отчим. Или хотя бы сто тысяч. И еще у матери сто попросить. Или хотя бы в долг. Ипотека. Это где-то пятьдесят тысяч в месяце. Рита работает, так что нам двоим будет по силам. Но все равно придется немного залезть в долги. Найти какую-нибудь подработку или даже вторую работу.

С меня стекал пот, и лилось из носа.

А все-таки, кто переключил во мне невидимый рычажок? Ведь раньше ребенок был для меня сосущий воющий кровопийца и пожиратель времени. Он загонит меня на крест, с которого уже не сойти до конца моих дней. Привяжет ржавой якорной цепью к женщине, к которой мгновенно утрачиваешь всю нежность после такого известия.

Как сразу же, раз и навсегда, становится ненавистен маршрут от метро, ведущий к работе.

Но теперь я был спокоен и счастлив. Впервые я видел, что смысл наполняет мою жизнь. На что мне мое время? Уже сколько мне было отпущено, и как я распорядился им? Пусть ребенок сожрет то, что осталось от времени.

И вот я блуждал внутри женщины, которую еще месяца три назад не знал, как в изменяющемся лабиринте. Чувствовал, как она, выпустив когти, крепко держит меня над собой, хотя я и не планировал вырваться.

* * *

Утром, заталкивая себя в вагон, я получил от Риты короткое сообщение: «Милый, мы не подарим стране солдата». Моя пацифистка. Она сделала новый тест, сходила к врачу, и оказалось, что беременность улетучилась.

Так, оказывается, бывает: заснула беременной, а проснулась уже не беременной. И медицина не видит в этом ничего странного. Не исключено, что и с женщиной на седьмом или восьмом месяце может случиться что-то подобное. И это событие тоже будет воспринято как само собой разумеющееся и в лучшем случае удостоится нескольких нечитательных строк в медицинской карте.

Спустя пару станций пришло запоздалое понимание: я все-таки переезжаю в Петербург. Жаль, что этот незаметный для внешнего мира зигзаг судьбы не пробудил во мне даже тени эмоции.

Я никогда не был решительным человеком, но в последние годы воля атрофировалась уже до клинической патологии. У меня поднималась температура, когда нужно было решить, какое кино скачать, и я так и ложился спать, ни к чему не придя, до ночи мечась и маясь, бесконечно тасуя вкладки браузера.

Но вот я принял решение впервые за много лет. Правда, несколько раз подбросив монетку в подтверждение выбора, но все-таки это был волевой шаг. И этот волевой шаг дробился на целую серию волевых решений: решение расстаться с Ритой, решение съехать с квартиры, решение уволиться, решение оставить маму одну в городе, и от всего этого мозг непрерывно кипел. Помимо нелегкого разговора с Ритой предстоял разговор с начальником, разговор с арендодателем, разговор с моим барбером – замечательным парнем, который вряд ли переживет, что его многомесячный труд по окантовке затылка обернется трудом Сизифа.

Перед барбером было особенно неудобно. Какие слова подобрать? Как будто мне нужно было признаться в подлости, которой человеческий род еще не знал. Хотя уж в чем человеческий род никогда не переживал writer's block, так это в изобретении подлостей. Почему же так тяжело? Я вспоминал, что, парадоксальным образом, настоящие подлости давались мне куда проще.

* * *

Я сидел в кабинете начальника, парня на год или два старше меня, с ржаво-рыжей бесформенной бородой, которую он без конца теребил в районе ямочки на

подбородке. Когда я положил на угол стола заявление об увольнении, он не удивился и не расстроился, но принялся долго и уныло пытаться меня, зачем я переезжаю в Санкт-Петербург. Мне предстояло еще много раз ответить на этот вопрос, и сложность была в том, что нормального человеческого ответа на него не существовало. Чтобы ответить на вопрос, зачем мне переезд в Петербург, нужно было переехать в Петербург. Выходила логическая ловушка. Поэтому оставалось краснеть и потеть, и мямлить, ожидая, когда он сдастся и разрешит уйти.

Было проще всего сказать: семейные обстоятельства или другая, более высокооплачиваемая, работа (в Петербурге? ха-ха), но я почему-то не мог соврать.

Если бы я задался целью честно ответить на этот вопрос, что в принципе невозможно в кабинете начальника, то у меня вышел бы длинный и путаный лирический монолог. И я все-таки приведу его здесь, постаравшись ужать, насколько это возможно.

* * *

Уже очень давно меня мучило назойливое и неприятное для самолюбия чувство: что я существую только в качестве некоего наваждения, порожденного, в свою очередь, кем-то не вполне настоящим. Это чувство временами охватывает многих или даже почти всех, но другое дело, когда оно не дает тебе передышки. Я стал настолько размыт, настолько лишился свойств, что напоминал сам себе фантазию или сон второстепенного персонажа из проходной повести писателя далеко не первого ряда.

У людей без личности особенно силен страх ее утратить: мысли о смерти доводили меня до состояния такого

животного ужаса, что я переставал себя контролировать. Пожалуй, эту одержимость, этот страх потерять личность следовало использовать как единственную характеристику моей личности.

Вся моя взрослая жизнь протекала меж двух огней – между жаром маминого борща и борща старшей сестры: обжигающий жар двух борщей, в котором я задышался. За многие годы в Москве я не испытал ни одной глубокой эмоции. Значит, все эти годы можно было спокойно перечеркнуть. А других годов – без борщей – и не было.

На фоне бессобытийной жизни я стал постоянно и очень активно разговаривать сам с собой, иногда эти разговоры превращались в споры с жестикуляцией. Я все чаще не находил сил, чтобы встать с кровати, и сказывался на работе больным.

Я был уверен, что психических проблем у меня нет, но время от времени вспоминал своих близких родственников, много лет пролежавших лицом к стене. Депрессия, осложнившаяся смежными заболеваниями. От лекарств у них страшные белые губы, кроткие козьи глаза с кровавыми прожилками, это зомби, в которых вместо человеческой воли действует воля медикаментов. Я никогда не ел из одной посуды, не купался в одном водоеме со своими безумными родственниками. Мне казалось, что я подцеплю от них сумасшествие, как цепляют простуду. И эти предосторожности действовали до поры.

Но теперь мне стал сниться навязчивый сон с двумя мужчинами, один из которых стоял, а другой сидел. Почему-то тот сон доставлял мне особенное беспокойство. Я не помню об этих двоих никаких подробностей, но только черты их лиц в какой-то момент начинали резко сморщиваться и кожа становилась похожей на приставший к черепу

пластиковый пакет. Я понимал, что, если они сорвут эти пакеты с голов, случится что-то неотвратимо кошмарное. И казалось, что это вот-вот произойдет.

Настали тридцать лет, самый деятельный, определяющий всё период жизни, а я подошел к нему беспомощным и опустошенным.

Из равновесия меня выводили только рабочие споры. Неистовые и многочасовые, они были посвящены, например, вопросу, как следует писать слово «миллиард» – полностью или сокращать до «млрд». А если писать млрд, то добавлять ли к этой абракадабре точку, вот так – «млрд.». Коллеги, занимавшие ту или иную позицию, отстаивали ее так, как будто речь шла о судьбе континента, как будто ангел и черт вели спор за душу, не отягощенную крупным грехом, но и не благодетельную. Вокруг таких бюрократических изысканий вертелась вся моя жизнь, все разговоры и на работе, и за ее пределами. Я родился и всю жизнь прожил в Москве, но она так и осталась чужим, полным чужих людей городом.

Когда я пытался вспомнить, было ли когда-нибудь по-другому, всякий раз возвращался мысленно в Петербург. Там я ни с кем не обсудил ни миллиард, ни миллион. Там ко мне подходил незнакомец, бледный от водки, и говорил что-то вроде: «Не правда ли, дорогой друг, что если мы покончим с собой, в нашей жизни это ничего не изменит?»

Было время, когда я часто туда наведывался. Я пытался много писать, а Петербург был город моих героев, нервных печальных людей, застрявших между реальным и потусторонним мирами.

Там жили мои друзья-писатели. Бывший борец Витя был настолько точной копией Хемингуэя, что с ним рядом и я чувствовал себя кем-то наподобие Фицджеральда.

да – или по меньшей мере героем «Полночи в Париже», попавшим во временную яму. Он занимал комнату с недо-стижимо высокими потолками, и мне казалось, что, живи я тут, и мои мысли воспарили бы к небесам. Это в Москве они крутились вокруг, например, туалетной бумаги – ее то слишком быстрого иссякания, то, напротив, почти вечной жизни для какого-нибудь одного рулона.

Или Валера, писатель и массажист с гигантскими кра-бьими руками, который выжимал меня на массажном столе, как грязную губку. Во время сеансов я узнавал, как следует забивать барана, как правильной любить женщину в за-висимости от расположения ее влагалища, как понимать в «Ветхом Завете» или «Войне и мире» ту или иную строку.

Марат, одновременно жилистый, крепкий и ангели-чески бестелесный, зашившийся пьяница и установщик дверей, похожий на пожилую брезгливую женщину. Когда я смотрел на него, сосредоточенного бедного человека, без конца твердившего про свои и чужие тексты, то верил, что кроме нежных поэтических образов, которые он вырывал из реальности и сажал в грубые колодки своих рассказов, в мире нет и не может быть ничего важного.

Женя, напоминавший одновременно монаха-отшель-ника и обезьяну, вечно чесался и вел одновременно по сто дел. Он писал по два романа и рэп-альбом, снимал сериал и снимался сам, издавал книжки и выпускал журнал, и по-неволе даже человек с витальностью куклы, попади тот в его поле зрения, начинал что-то предпринимать и куда-то бегать.

Максим – мой проводник и покровитель, устраивавший мне ночлег, всегда знавший, где можно отведать лучших в городе щучьих котлет и выпить самой дешевой водки, и где хороший невролог, и где бассейн без хлорки, и какая

где теперь идет выставка. Было необъяснимым, как такой энергичный жизнелюбивый тип, как Максим, мог возникнуть среди этих гранитных болот, на этом холодном ветру, обнимающем всех мокрой колючей проволокой.

Максим свел меня с миллиардом (млрд) друзей, и никто из них никогда не работал, а обязательно что-то писал или где-то пел, чуть реже – снимал, и жил, кажется, одной только милостью божьей, или не божьей, но во всяком случае непостижимым образом, в соответствии с принципом «будет день – будет пища». Причем не только пища, но и даже некоторые излишества, в числе коих – знаменитые «влажные питерские спицы».

Я понимал, что и мне следовало отдаться течению петербургской жизни и с беспечностью наблюдать, куда это течение выведет. Петербург только кажется неудобным для жизни, враждебным жизни северным городом – для таких экзотических хрупких цветов, как я и мои друзья, он был теплицей.

Вспоминая свои приезды, я видел драгоценные черепки, из которых складывается прекрасная альтернативная жизнь, и ей живет в этом городе мой допельгангер. Жизнь, в которой едешь зимой посреди ночи до станции Царскосельской, чтоб поглядеть на любимую скамейку Иннокентия Анненского. А не жизнь, в которой ползаешь возле кулера, на полу, выдавливая друг другу глаза ради верного написания «миллиарда».

Но я выбрал удобные шерстяные тапки Москвы и ежемесячную зарплату. Я попал в худшую из ловушек, в которую может вляпаться пишуший человек, – журналистику. Сперва репортерская работа и так называемое профессиональное выгорание, явно предшествовавшее овладению профессией. Затем работа редактором – и исправление

заметок, написанных небывало плохо, от которых в конце концов и я сам стал терять слух к слову. И вот в тридцать лет, задувая свечи на пироге, я понял, что жизнь обрела все черты тоскливой симуляции.

Я работал в газете «Счастливей возраст», публиковавшей статьи про идеальных российских пенсионеров. Пенсионеров, которым не было дела до пенсионной реформы, спортивных и молодежавых, их интересовало только открытие новых катков, танцплощадок и фудкортов. Они знакомились в интернете, вставляли в челюсти протезы стоймостью в хорошую иномарку и не слезали с велосипедов и палок для скандинавской ходьбы. Я думал, что если такие пенсионеры и существовали в реальности, то их, должно быть, завезли специально из Скандинавии или Германии.

А делали эту газету о спортивных ухоженных стариках люди, не имевшие ни малейшего отношения к старикам, спорту и даже, увы, к элементарной ухоженности. Молодой бородатый главред был доброжелательным русским пьяницей. Закупал алкоголь канистрами и канистрами же его опустошал за рабочим столом. Там же и проводил ночь, свернувшись на придверном коврикe и озверело храпя. В бороде у него всегда застревало съестное, а на безволосом поросычем животике, пока он спал, сотрудники иногда оставляли фломастером оскорбительные слова.

Ответственный секретарь, старшекурсница, похожая на комарика, тыкалась во все предметы мебели, как пылесос-робот, и хрипела голосом вылезшей из пруда утопленницы: «Фармацевт! Дайте мне телефон фармацевта-а-а». «А где мой телефон?» – интересовался с пола главный редактор. С этого начинался почти каждый рабочий день в газете про благородную старость.

Отношения с Ритой за неполный триместр проделали полный цикл – от обоготворения и через животную

похоть – к ласковому безразличию. Мы не знали и не желали узнать друг друга, а просто спали, считали родинки друг на друге, ели пиццу в кровати и смотрели бесконечный сериал «Лост». Меня пугала ее татуировка, ее портрет Гумилева, ее сосед, который выращивал чайный гриб. У этого гриба даже было имя – Федор, – и когда я ночевал у Риты, он проникал в мои сны. Грибы, они как коровы, но только умнее коров. Во всяком случае, они хитрее. А еще мне казалось, что они с соседом трахались друг с другом безостановочно, стоило только выйти за дверь. Я был уверен, что разрыв пойдет нам обоим на пользу.

Пока у меня еще оставалось немного энергии, я должен был предпринять запоздалый рывок в жизнь. При этом я хорошо понимал, что рывок этот следовало уподобить попытке толстого одышливого мужчины догнать линию горизонта. Толстого одышливого мужчины, не забывавшего ни на секунду, что эта линия не станет ближе и на сантиметр. И все-таки надо бежать.

В сущности, я хотел добавить немного нервозности в жизнь. Щепотку полезной нервозности. Сбросить с себя слоновью кожу, которую нарастил в родной Москве. Точнее, в слоновью кожу, как в чехол, было уложено сердце – кожа была по-прежнему слишком нежной, меня выводила из строя любая мелочь, но вот сердце спало, ничего его не касалось. Меня не манили авантюры старого мира – я не хотел брать Трою, не хотел на Донбасс, не хотел жить дикарем в плохо изведанных уголках планеты. Моя Троянская битва – это переезд в Петербург.

В общем, примерно такой монолог должен был выслушать мой начальник, который бы все это время пыхтел и мечтал о канистре. Я поступил благоразумно, ограничившись несколькими минутами беспомощного мычания.

Реакция Риты оказалась ровно такой, как я ожидал. Она только вздохнула и уточнила: когда? Я ответил, и она склонила голову набок – наверное, подсчитывала, сколько раз мы еще переспим до моего отъезда. Хотя я и надеялся, что все выйдет именно так, благоразумно и мирно, меня пронзил страшный укол обиды. Мои мысли потекли в следующем направлении: вот она, современная молодежь.

Вот оно, первое по-настоящему свободное поколение, никак не связанное с Советским Союзом, в отличие от меня, хотя и не заставшего его в сознательном возрасте, но все-таки я, цитируя Олега Газманова, рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Или словами Юрия Шевчука: у-у-у-у, рожденный в СССР! Значит, вирус этого мрачно-диковинного государства есть и в моей крови. А вот у поколения Риты его не было. Про Ритино поколение писал упрямый диссидент Владимир Буковский: «Неужели теперь, на пороге гибели страны, произойдет чудо и возникнет из хаоса новое племя бунтарей, которые сделают то, на что их трусливым отцам пороха не хватило, – покончат с остатками тоталитарного режима, превратившегося в мафию, отстранят поколения, испорченные десятилетиями рабства, и начнут строить новое общество?» Нет, не начнут. Ведь это поколение сломанных роботов, травянистых детей без крови, стержня, чувств, морали, владеющих всеми дискурсами, но не верящих ни в один из них, вечно веселых и таких ироничных всезнаек, но почему-то пичкающих себя антидепрессантами без остановки! Отребье, гниль, падаль, навозные насекомые! – так думал я, не в силах отвести взгляд от ее живота, исчерченного нитями паутины.

Последняя встреча с Ритой прошла в Музее русской иконы имени Андрея Рублева. Этот поход был незапланированным, мы просто оказались возле него, когда, как из шлюзов, прорвался дождь, совмещенный с густыми слизистыми осадками неизвестного происхождения. В первые пару секунд показалось даже, что это дождь из моллюсков.

Никаких особенных мест для укрытия не было – так что нас ждало русское зодчество, находившееся под надзором долговязой старухи-смотрительницы. Это была женщина с овальным серым лицом, напоминавшим утес, вокруг которого, как мох, выросла какая-то лиловатая шелуха – на лбу, на щеках. Старуха шла по пятам и издавала шипение, стоило нам встать слишком близко к одной из икон. Рита выглядела бледной, уставшей, на лбу испарина. Я подумал, что в кино так выглядят женщины после родов. Рита перекрасилась в серебристый цвет, и волосы у нее теперь походили на каску.

У меня был аудиогид, и мы, возможно, в последний раз прижавшись друг к другу, слушали бодрый механический голос, который рассказывал, как святого Георгия пытали колесом, бросали в яму с гашеной известью, кромсали пилей, перебили кости на руках и ногах и в конце концов отрубили голову.

Больше других мне понравилась сюжетная икона с Николаем Чудотворцем. Вот он родился, совершил первое чудо, а вот его уже несут хоронить, а потом он вдруг сидит за столом, а потом сражается с какой-то огромной рыбиной. Было сложно понять, как читать сюжетные иконы, но, когда я разобрался, связности повествованию это не

добавило. Наверное, именно так должен воспринимать наш мир бог, у которого все происходит одновременно: рождение, смерть, мелкие происшествия, отделяющие одно большое событие от другого, а также посмертная жизнь.

Конечно, не о чем-то таком я должен был размышлять в последнюю встречу с Ритой, но какое место, такие и мысли. А загнало нас сюда странное чудо, моллюсковый дождь.

Мы прощались у памятника Андрею Рублеву, который придерживал в обеих руках две гранитных доски и как будто ждал, когда кто-нибудь встанет под ними. На голове у Рублева возилась ворона, свивая гнездо. Взгляд у него был упрям и грустен.

Вместо романтических, полагавшихся осени желтых листьев были только комки грязи. Снова пролился сопливый моллюсковый дождь, и я предположил, что сейчас мы пойдем заниматься воспетым во многих поп-песнях прощальным сексом, но Рита сжала мою руку несколько раз, как резиновую игрушку, и пошла домой.

Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Мокрая каска волос светилась во мгле, и казалось, что она идет не домой, а отправляется насаждать мир в одну из ближневосточных стран.

Не может быть, чтобы она плакала, раз за разом прогонял я эту мысль в голове, пока гнусные сопливые моллюски с небес падали мне за шиворот, распуская по шее щупальца.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА